

Ленинградская поэма

Category: Kitarcy, Poesmalar

написано kitarcy | 25 января, 2025

Ленинградская поэма ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА

1.

Я как рубеж запомню вечер:
декабрь, безогненная мгла,
я хлеб в руке домой несла,
и вдруг соседка мне навстречу.
«Сменяй на платье, – говорит, –
менять не хочешь – дай по дружбе.
Десятый день, как дочь лежит.
Не хороню. Ей гробик нужен.
Его за хлеб сколотят нам.
Отдай. Ведь ты сама рожала...»
И я сказала: «Не отдам».
И бедный ломоть крепче сжала.
«Отдай, – она просила, – ты
сама ребёнка хоронила.
Я принесла тогда цветы,
чтоб ты украсила могилу».
...Как будто на краю земли,
одни, во мгле, в жестокой схватке,
две женщины, мы рядом шли,
две матери, две ленинградки.
И, одержимая, она
молила долго, горько, робко.
И сил хватило у меня
не уступить мой хлеб на гробик.
И сил хватило – привести
её к себе, шепнув угрюмо:
«На, съешь кусочек, съешь... прости!
Мне для живых не жаль – не думай».
...Прожив декабрь, январь, февраль,

я повторяю с дрожью счастья:
мне ничего живым не жаль —
ни слёз, ни радости, ни страсти.
Перед лицом твоим, Война,
я поднимаю клятву эту,
как вечной жизни эстафету,
что мне друзьями вручена.
Их множество — друзей моих,
друзей родного Ленинграда.
О, мы задохлись бы без них
в мучительном кольце блокады.

2.

.
.

3.

О да — и н а ч е н е м о г л и
ни те бойцы, ни те шофёры,
когда грузовики вели
по озеру в голодный город.
Холодный ровный свет луны,
снега сияют исступлённо,
и со стеклянной вышины
врагу отчётливо видны
внизу идущие колонны.
И воет, воет небосвод,
и свищет воздух, и скрежещет,
под бомбами ломаясь, лёд,
и озеро в воронки плещет.
Но вражеской бомбёжки хуже,
ещё мучительней и злей —
сорокаградусная стужа,
владычащая на земле.
Казалось — солнце не взойдёт.
Навеки ночь в застывших звёздах,

навек лунный снег, и лёд,
и голубой свистящий воздух.
Казалось, что конец земли...
Но сквозь остывшую планету
на Ленинград машины шли:
он жив ещё. Он рядом где-то.
На Ленинград, на Ленинград!
Там на два дня осталось хлеба,
там матери под тёмным небом
толпой у булочной стоят,
и дрогнут, и молчат, и ждут,
прислушиваются тревожно:
«К заре, сказали, привезут...»
«Гражданочки, держаться можно...»
И было так: на всём ходу
машина задняя осела.
Шофёр вскочил, шофёр на льду.
«Ну, так и есть – мотор заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.
Поломка эта – не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнёшь – опять сведёт.
Стоять? А хлеб? Других дожждаться?
А хлеб – две тонны? Он спасёт
шестнадцать тысяч ленинградцев».
И вот – в бензине руки он
смочил, поджёг их от мотора,
и быстро двинулся ремонт
в пылающих руках шофёра.
Вперёд! Как нуют волдыри,
примёрзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получают на заре –
сто двадцать пять блокадных грамм

с огнём и кровью пополам.
...О, мы познали в декабре –
не зря «священным даром» назван
обычный хлеб, и тяжкий грех –
хотя бы крошку бросить наземь:
таким людским страданием он,
такой большой любовью братской
для нас отныне освящён,
наш хлеб насущный, ленинградский.

4.

Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
страшней и радостней дороги.
И я навек тобой горда,
сестра моя, москвичка Маша,
за твой февральский путь сюда,
в блокаду к нам, дорогой нашей.
Золотоглаза и строга,
как пруттик, тоненькая станом,
в огромных русских сапогах,
в чужом тулупчике, с наганом, –
и ты рвалась сквозь смерть и лёд,
как все, тревогой одержима, –
моя отчизна, мой народ,
великодушный и любимый.
И ты вела машину к нам,
подарков полную до края.
Ты знала – я теперь одна,
мой муж погиб, я голодаю.
Но то же, то же, что со мной,
со всеми сделала блокада.
И для тебя слились в одно
и я, и горе Ленинграда.
И, ночью плача за меня,

ты забирала на рассветах
в освобождённых деревнях
посылки, письма и приветы.
Записывала: «Не забыть:
деревня Хохрино. Петровы.
Зайти на Мойку, сто один,
к родным. Сказать, что все здоровы,
что Митю долго мучил фриц,
но мальчик жив, хоть очень слабый...»
О страшном плене до зари
тебе рассказывали бабы
и лук сбирали по дворам,
в холодных, разорённых хатах:
«На, питерцам свезёшь, сестра.
Проси прощенья — чем богаты...»
И ты рвалась — вперёд, вперёд,
как луч, с неодолимой силой.
Моя отчизна, мой народ,
родная кровь моя, — спасибо!

5.

.
.

6.

Вот так, исполнены любви,
из-за кольца, из тьмы разлуки
друзья твердили нам: «Живи!»,
друзья протягивали руки.
Оледеневшие, в огне,
в крови, пронизанные светом,
они вручили вам и мне
единой жизни эстафету.
Безмерно счастье моё.
Спокойно говорю в ответ им:
«Друзья, мы приняли её,

мы держим вашу эстафету.
Мы с ней прошли сквозь дни зимы.
В давящей мгле её страданий
всей силой сердца жили мы,
всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни
мы ели клей, потом ремни;
но, съев похлёбку из ремней,
вставал к станку упрямый мастер,
чтобы точить орудий части,
необходимые войне.

Но он точил, пока рука
могла производить движенья.
И если падал – у станка,
как падает солдат в сражение.

Но люди слушали стихи,
как никогда, – с глубокой верой,
в квартирах чёрных, как пещеры,
у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,
перед коптилкой, в стуже адской,
гравировал гравёр седой
особый орден – ленинградский.
Колючей проволокой он,
как будто бы венцом терновым,
кругом – по краю – обведён,
блокады символом суровым.
В кольцо, плечом к плечу, втроём –
ребёнок, женщина, мужчина,
под бомбами, как под дождём,
стоят, глаза к зениту вскинув.
И надпись сердцу дорога, –
она гласит не о награде,
она спокойна и строга:

«Я жил зимою в Ленинграде».
Гравёр не получал заказ.
Он просто верил – это надо.
для тех, кто борется, для нас,
кто должен выдержать блокаду.

Так дрались мы за рубежи
твои, возлюбленная Жизнь!
И я, как вы, – упряма, зла, –
за них сражалась, как умела.
Душа, крепясь, превозмогла
предательскую немощь тела.

И я утрату понесла.
К ней не притронусь даже словом –
такая боль... И я смогла,
как вы, подняться к жизни снова.
Затем, чтоб вновь и вновь сражаться
за жизнь.

Носитель смерти, враг –
опять над каждым ленинградцем
заносит кованый кулак.
Но, не волнуясь, не боясь,
гляжу в глаза грядущим схваткам:
ведь ты со мной, страна моя,
и я недаром – ленинградка.
Так, с эстафетой вечной жизни,
тобой вручённой, отчизна,
иду с тобой путём единым,
во имя мира твоего,
во имя будущего сына
и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой
её, заветную мою,
сложила я нетерпеливо
сейчас, в блокаде и в бою.

Не за неё ль идёт война?
Не за неё ли ленинградцам
ещё бороться, и мужаться,
и мстить без меры?

Вот она:

«Здравствуй, крестник
красных командиров,
милый вестник,
вестник мира.

Сны тебе спокойные приснятся —
битвы стихли на земле ночной.

Люди
неба
больше не боятся,
неба, озарённого луной.

В синей-синей глубине эфира
молодые облака плывут.
Над могилой красных командиров
мудрые терновники цветут.

Ты проснёшься
на земле цветущей,
вставшей не для боя — для труда.
Ты услышишь
ласточек поющих:
ласточки вернулись в города.

Гнёзда вьют они — и не боятся!
Вьют в стене пробитой, под окном:
крепче будет гнёздышко держаться,
люди больше
не покинут дом.

Так чиста теперь людская радость,
точно к миру прикоснулась вновь.
Здравствуй, сын мой,

жизнь моя,
награда,
здравствуй, победившая любовь!»

Вот эта песнь. Она проста,
она — надежда и мечта.
но даже и мечту враги
хотят отнять и обесчестить.
Так пусть гремит сегодня гимн
одной неуголимой мести!
Пусть только ненависть сейчас,
как жажда, жжёт уста народа,
чтоб возвратить желанный час
любви, покоя и свободы!

Июнь — июль 1942 г. Роемалар